

«И “Юрия Милославского” тоже я написал...»

Чего бы ни касался сталинский рассказ (а касается он буквально всего, поскольку действия вождя не только предельно интенсивны, но и тотально экстенсивны), он возвращается к исходной точке — фигуре самого повествователя. Эта особенность автобиографического повествования позволяет рассматривать сталинскую биографию как наиболее фантастический в мировой истории образец автобиографического жанра. Описываемые здесь никогда не происходившие события заставляют предположить, что целью этого текста был вовсе не рассказ о жизни Сталина, а попытка конструирования некоей новой исторической реальности, где важны не события как таковые, но их производитель — Сталин.

Был ли Сталин наркомнацем — он «непосредственно руководил всей работой партии и Советской власти в деле разрешения национального вопроса в СССР... Нет ни одной советской республики, в организации которой Сталин не принимал бы активного и руководящего участия. Сталин руководит борьбой за Украинскую Советскую Республику, руководит делом создания Белорусской Республики и советских республик в Закавказье и Средней Азии, помогает многочисленным национальностям Советской страны строить свои автономные советские республики и области» (68).

Был ли он инициатором индустриализации — «ни одна область, ни один вопрос индустриализации не ускользали из поля зрения Сталина. Сталин — инициатор создания новых отраслей промышленности, развития и реконструкции ранее отсталых отраслей. Сталин — вдохновитель создания второй угольно-металлургической базы в нашей стране, строительства Кузбасса. Сталин организатор и руководитель социалистических строек» (110).

Наконец, после войны деятельность Сталина развернулась во всем своем фантастическом разнообразии, тотально замыкающем все сферы человеческого суще-

ствования: «Работа товарища Сталина исключительно многогранна; его энергия поистине изумительна. Круг вопросов, занимающих внимание Сталина, необъятен: сложнейшие вопросы теории марксизма-ленинизма — и школьные учебники для детей; проблемы внешней политики Советского Союза — и повседневная забота о благоустройстве пролетарской столицы; создание Великого северного морского пути — и осушение болот Колхиды; проблемы развития советской литературы и искусства — и редактирование устава колхозной жизни и, наконец, решение сложнейших вопросов теории и практики военного искусства» (239). Вскоре сюда добавятся и «вопросы языкознания», которыми Сталин занимался, видимо, не подозревая этого, всю свою жизнь.

В биографии Сталина немало провалов. Например, многие годы ссылок не отмечены никакими событиями. Между тем, и эти бессюжетные периоды не стоят повествователя в тупик. Сообщается, например, что «сидя в тюрьме, Сталин узнает от приехавших со II съезда партии товарищей о серьезнейших разногласиях между большевиками и меньшевиками. Сталин решительно становится на сторону Ленина, большевиков» (19). Это «становится» и является в данном случае неким действием. И хотя «действие» это не имеет никаких ощутимых результатов (какое имеет значение, что какой-то провинциальный революционер, будучи в ссылке, стоит на позиции той или иной фракции — к тому же само содержание фракционных споров не могло, конечно, быть понято Сталиным, не имевшим к ним никакого отношения), именно оно приобретает характер события: «Отрезанный от всего мира, оторванный от Ленина и партийных центров, Сталин занимает ленинскую интернационалистскую позицию по вопросам войны, мира и революции. Он пишет письма Ленину, выступает на собрании ссыльных большевиков в селе Монастырском (1915 г.), где клеймит позором трусливое и предательское поведение Каменева» (56).

В контексте сталинской биографии соотношение Сталин/Каменев в 1915 году (величины просто несопоставимые) оказывается не только реальным, но с явным перевесом в сторону первого. Достигается этот оптический эффект распространенным литературным приемом «автоповествования» — биография Сталина пишется с конца: еще только родившись он уже вождь, а Каменев уже трус и предатель. Эта оптика и определяет известную способность Сталина «предвидеть» (это предвидение назад) «будущее». Божественное это свойство постоянно подчеркивается в биографии.

В результате история приобретает обоснованность. Можно сказать, что она сама себя обосновывает. Этот идеологический перпетуум мобиле был одним из главных изобретений сталинских исторических нарративов. Средоточием провидения является Слово. Ясно, поэтому, что действия Сталина — это слова и указания: Сталин «поставил задачу свести к нулю численное превосходство немцев в танках и авиации... Это указание вождя имело величайшее значение для исхода войны. Выполняя это указание, советская промышленность из месяца в месяц увеличивала выпуск самолетов, танков и средств борьбы с ними, ликвидировав в ходе войны превосходство врага в численности боевой техники» (191). Действия промышленности являются, следовательно, результатом «указаний», а, скажем, Сталинградская битва — «ярким торжеством сталинской стратегии и тактики, торжеством гениального плана и мудрого предвидения великого полководца, проницательно раскрывшего замыслы врага и использовавшего слабости его авантюристической стратегии» (203). Итоги этих «действий», по сути, являющихся лишь эманацией сталинского Слова, предстают в виде монументальных картин: немецкие «знамена были брошены к ногам победившего советского народа, к подножию Ленинского Мавзолея, на трибуне которого стоял Великий Полководец — Сталин» (221).

Действие сталинского Слова, являющегося посредником между вождем и массами, обладает поистине универсальной силой. По сути, вся сталинская история

— это история его Слова: «Нанеся сокрушительный удар «левацким» искривлениям и вместе с тем развеяв по ветру надежды интервентов, товарищ Сталин, как учитель миллионов масс, объяснял партийным и беспартийным кадрам, в чем состоит искусство руководства» (131). «Искусство руководства» состоит, как можно видеть, в том, чтобы — Словом — «наносить сокрушительные удары» и «развивать по ветру».

Перед нами — чистое событие языка. Так, за один день в Петербурге Сталин (может быть) успел встретиться с кем-то из действующих революционеров (значит: «устанавливает связи с петербургской партийной организацией»), (может быть) переговорил с ним о текущих внутрипартийных склоках (значит: «направляет и организует борьбу против ликвидаторов — меньшевиков и троцкистов»), (может быть) узнал, о чем говорят рабочие (значит: «спланирует и укрепляет большевистские организации Петербурга»). Этот перевод неких действий (неважно, реальных или вымышленных) на другой язык и составляет самую суть сталинского нарратива. Формирование нового языкового поля, нового дискурса о реальности вновь обращает нас к вопросу о природе исторического нарратива.

В «Метаистории» Уайт замечает, что индивидуальная историческая концепция сама по себе обладает «согласованностью» и «самодостаточной тотальностью», придающими ей «отличительные стилистические атрибуты»: «Проблема здесь в том, чтобы дать обоснования этим согласованности и самодостаточности. С моей точки зрения, — пишет Уайт, — эти основания являются поэтическими и специфически лингвистическими по своей природе». «Просчитывание» материала, подлежащего презентации и обоснованию, Уайт называет «поэтическим актом, неотличимым от лингвистического акта, в котором исследовательское поле уже готово (ready-made) для интерпретации»¹³.

Вот эта уже сделанная История — «ready-made History» — и является «материалом», из которого рождается исторический нарратив. Отсюда следует, что повествование разлагается на разного рода фигуры и тропы. То, что Уайт называет «исторической тропологией», системой тропов исторического повествования, было сформировано у Сталина в семинарии, ставшей первой (и последней) ступенью его образования. Поэтому вся теория политической борьбы (из которой выросла в сталинском сознании ее история) описывается в категориях не только эпического (библейского) времени, но в категориях религиозного поведения, усвоенного им из круга семинаристского чтения. Образцы такого мышления находим в сталинской биографии. Такой, например, аргумент в политическом споре: надо принять ленинскую «теоретическую предпосылку» — «и никакой оппортунизм не подступит к тебе близко» (26—27). Перед нами ситуация гоголевского «Вия»: ведьма не проникнет за обведенный крестом круг. Или такое сталинское объяснение:

«Что такое научный социализм *без рабочего движения*? — Компас, который, будучи оставлен без применения, может лишь заржаветь, и тогда пришлось бы его выбросить за борт.

Что такое рабочее движение *без социализма*? — Корабль без компаса, который и так пристанет к другому берегу, но, будь у него компас, он достиг бы берега гораздо скорее и встретил бы меньше опасностей.

Соедините то и другое вместе, и вы получите прекрасный корабль, который прямо понесется к другому берегу и невредимым достигнет пристани.

Соедините рабочее движение с социализмом, и вы получите социал-демократическое движение, которое прямым путем устремится к «обетованной земле» (28—29).

Перед нами — классический образец клерикальной риторики с ее «диалектикой противоположных начал», с ее радикальными оппозициями, с ее образностью (соль, потерявшая силу, годится только на то, чтобы бросить ее свиньям). Подобных примеров — множество в сталинских текстах, симулирующих логику, заменя-

ющих ее простой бинарностью, опирающейся на жанровые каноны усвоенных им в семинарии текстов или на чистую риторику: «Да, господа, тщетны ваши старания! Русская революция неизбежна. Она так же неизбежна, как неизбежен восход солнца! Можете ли остановить восходящее солнце?» (32—33). Сама апелляция к подобной образности выдает в Сталине страстного (хотя и примитивного) ратора.

Между тем, Сталин безошибочно чувствовал своего читателя. Его повествование находится в постоянном стилевом движении. Он то переходит на язык школьного учебника, рассчитанного даже не на пионеров — на октябрят («Свергнутые Октябрьской социалистической революцией, российские помещики и капиталисты стали стовариваться с капиталистами других стран об организации военной интервенции против Страны Советов. Они ставили себе целью разгромить рабочих и крестьян, свергнуть Советскую власть и закабалить снова нашу страну» (70)), то вдруг симулирует стиль «историко-партийной науки»: в речи на конференции аграрников-марксистов в 1929 году «товарищ Сталин разоблачил буржуазную теорию “равновесия” секторов народного хозяйства, разбил антимарксистскую теорию “самотека” в социалистическом строительстве и антимарксистскую теорию “устойчивости” мелко-крестьянского хозяйства. Разгромив все эти буржуазные, антимарксистские, правооппортунистические теории, товарищ Сталин дал глубокий анализ природы колхозов... Товарищ Сталин с присущей ему гениальной прозорливостью научно доказал... Великий диалектик — Сталин показал...» (126—127). Обращает на себя внимание не только знакомое хлестаковское «все» (Сталин разгромил, конечно, *все* теории), но и самое определение каких-то политических и политэкономических лозунгов и установок как «теорий». Самое закавычивание слова «теория» означает, разумеется, ее ложность. Теория без кавычек, напротив, — величайшая сила. Она — признак научности (еще одна сталинская травма: он никогда не был «теоретиком»). Поэтому Сталин предстает перед нами не просто как политик, но именно как ученый («научно доказал»). Легко заметить, что это ощущение «научности» создается чисто стилистически — путем называния лозунгов теориями.

«Научность» сталинских текстов строится на принципе «доступности», согласно которому читатель получает «теории» в виде неких аксиом. Соответственно, антитеории (теории в кавычках) строятся на доведении до простой оппозиции «антитеории» и «теории». Например: «Сталинскому плану социалистической индустриализации капитулянты Зиновьев и Каменев пытались противопоставить свой “план”, согласно которому СССР должен был остаться аграрной страной. Это был предательский план закабаления СССР и выдачи его со связанными ногами и руками империалистическим хищникам. Сталин сорвал маски с этих презренных капитулянтов, вскрыл их троцкистско-меньшевицкую сущность» (103). Неважно, что Зиновьев и Троцкий настаивали именно на форсированной индустриализации (что, как известно, и было проделано Сталиным). Важно то, что их «план» (вновь семантически важные кавычки) был «предательским», а еще точнее — «выдавал СССР со связанными ногами и руками империалистическим хищникам». Последняя картина («связанные ноги и руки», «империалистические хищники») была, конечно, максимально доступной «массовому читателю». Становилось неважно, что именно говорили «капитулянты». Важно то, что они делали нечто страшное.

Логика оппозиции («не то, а это», «если то, тогда это» и т. п.) цементирует сталинский дискурс, делая невозможным даже потенциальное неаксиоматическое суждение о событиях. Она обнаруживает себя в аутентичных сталинских выступлениях, образцы которых нередко встречаются в биографии вождя. Вот типичные высказывания Сталина: «Не убаюкивать партию надо, — а развивать в ней бдительность, не усыплять ее, — а держать в состоянии боевой готовности, не разору-

жать, — а вооружать, не демобилизовывать, — а держать ее в состоянии мобилизации для осуществления второй пятилетки» (145). Или: «Будут у нас хорошие и многочисленные кадры в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте, в армии, — наша страна будет непобедима. Не будет у нас таких кадров — будем хромать на обе ноги» (151).

Перед нами — чисто тавтологические конструкции. Проанализировав эти «лингвистические игры», Михаил Эпштейн назвал лекала, по которым создаются подобные конструкции, «релятивистскими моделями тоталитарного мышления»¹⁴. Стоит, впрочем, заметить, что такого рода текст неизбежно распадается: смысловые скрепы разъедаются тавтологическим пробалтыванием, когда, в результате, перед нами оказываются совершенно полые конструкции «однородности».

Сталинский дискурс — это логический капкан. Он строится на замыкании нарратива в «круг», из которого есть только один выход — вовнутрь. Отсюда — пламенеющий амфир сталинского стиля. «Все знают непреодолимую сокрушительную силу сталинской логики, кристальную ясность его ума» (239). Сталинские истории демонстрируют эту «сокрушающую ясность» наиболее полно.

В чем же разница между биографией Ленина и автобиографией Сталина? Жанровое различие лежит на поверхности, но дело не в нем. Дело в раздвоении повествователя. Перед нами — автобиография Другого, сталинского двойника. Но этот двойник и был главным персонажем личной драмы Сталина, который всю жизнь выстраивал свое «третье лицо». Поэтому и биография Ленина оказывается биографией этого Другого, и автобиография самого Сталина превращается в биографию Сталина-вождя. Перед нами — жанровый коллапс: автобиографию Сталин писать не мог, поскольку опять-таки писал биографию того самого Сталина, о котором говорил и думал в третьем лице и на парадный портрет которого указывал сыну. В результате, тавтологическое производство достигло своей вершины: нам по крайней мере дважды рассказаны биографии одного и того же персонажа. Этот «Ленино-Сталин» и был настоящей эманацией Власти — главного нарратора и, в конечном счете, главного потребителя собственных нарративов, озабоченного собственной легитимностью и продуцировавшего особую поэтику идеологического дискурса; власть является целью и субъектом наррации. Попутно заметим, что самая «краткость» сталинских текстов — продукт тавтологии, которая в пределе является кратчайшей формулой пустоты.

Попытаемся же определить действия повествователя в биографиях вождей. Во-первых, это художественное творчество (производство некоей иной исторической реальности); во-вторых, это лингвистические операции (создание собственно дискурса о прошлом); в-третьих, это поэтический процесс («историческая тропология»); в-четвертых, это перевод (с языка некоей возможной реальности в сталинский нарратив); в-пятых, это интенсивное жанропроизводство (трансформации жанров биографии и автобиографии).

Как можно видеть, все действия сугубо литературного свойства. Никаких признаков отраженной реальности они не несут или несут лишь в качестве сопутствующих. Центральная проблема этих текстов — проблема авторства. Это самые анонимные и одновременно самые публичные тексты советской культуры (в сталинской биографии приводятся слова Андрея Жданова на XVIII съезде о «Кратком курсе»: «Надо прямо сказать, что за время существования марксизма это первая марксистская книга, получившая столь широкое распространение» (164)). Парадокс анонимности этих текстов состоял в том, что нарратором выступал Сталин. Раздвоенный повествователь был анонимным в том лишь смысле, в каком говорил сам Сталин о Сталине в третьем лице. Но Сталин первого лица и был той самой Властью, которая излагала главное свое Слово — свою историю и свой собственный образ. Поэтому в смысле авторства рассматриваемые тексты — самые прозрачные в советской культуре. По крайней мере, очевидно, что они не могли быть

подвергнуты никакой цензуре даже гипотетически, поскольку высшей цензурой был сам их автор.

Что же касается главной исторической книги Сталина — «Краткого курса» — этой «Библии сталинизма»¹⁵, — то стоит отметить, что вопрос об авторстве этого текста решен в самой сталинской биографии. Здесь сказано: «В 1938 году вышла в свет книга “История ВКП(б). Краткий курс”, написанная товарищем Сталиным и одобренная комиссией ЦК ВКП(б)» (163). Это прямое указание на сталинское авторство «Краткого курса» подтверждается в его биографии и ссылкой на то, что по крайней мере знаменитая «философская глава» «Краткого курса» (по сути, являвшаяся на протяжении десятилетий матрицей для всей советской философии) была написана непосредственно Сталиным: «Работа И. В. Сталина “О диалектическом и историческом материализме”, написанная несравненным мастером марксистского диалектического метода, обобщающая гигантский практический и теоретический опыт большевизма, *поднимает на новую, высшую ступень диалектический материализм, является подлинной вершиной марксистско-ленинской философской мысли*». Несомненно, «Краткий курс» явился важнейшим звеном той литературно-исторической цепи из трех главных книг, которая скрепляет идеологический, исторический, литературный, мифологический и, наконец, ментальный свод здания культуры сталинской эпохи.